

ЭПИСТЕМНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ К МЕРТВЫМ

ТЕРНЕР Стефен – заслуженный профессор департамента философии Университета Южной Флориды, США (turner@usf.edu).

Аннотация. Странный статус у классиков социальной теории: их нынешний список – продукт научных стратегий прошлого; список этот меняется. Идет процесс замены авторами, соответствующими нынешним заботам. Удаляют тех, чьи взгляды неверны, кто принадлежит классу угнетателей, чтобы обеспечить эпистемную справедливость не заслужившим статуса классика, выдвигают несправедливо забытых. С инструментально-карьерной точки зрения адаптация к переменам разумна. Как научная оценка – нет. Замены сужают горизонт нашей ориентации и возможность судить о настоящем. Наш долг – признание не только преходящей, движимой модой оценки, но более серьезная способность выносить суждения независимо от инструментализации науки.

Ключевые слова: культура отмены • системная справедливость • Мертон • публичная социология • классики социологии

DOI: 10.31857/S013216250025449-6

“Историю, как старый пергамент, выскабливали начисто и писали заново – столько раз, сколько нужно”. (Orwell, 1949: 42)

“Термин ‘культура отмены’ произошел от жалованного титула – как будто жалуемое лицо имеет право на большую, покорную аудиторию; ты жертва, если народ решил её отменить. Наверное, тебя фактически не отменяют, но за- помнят, обвинят, накажут”. (Респ. А. Оказио-Кортес, Twitter, July 9, 2020. URL: <https://twitter.com/AOC/status/1281392795748569089>)

Чем мы обязаны ушедшим? И почему? Обязаны ли мы уважать и ценить У. Дюбуа за несправедливое забвение? Если всерьез отнестись к словам Морриса (2015, а мы должны), Дюбуа – жертва расизма и злоупотребления властью в науке. Надо признать его статус как одного из создателей социологии. Фрикер ввела (2007) понятие эпистемной несправедливости для таких случаев – случаев эксклюзии и замалчивания по причинам, не относящимся к научной валидности исключенного лица. Для нее это вопрос профессиональной этики: несправедливое исключение людей, лишение их слова, лишение их доступа к знанию морально вредны. Лекарство – дать слово молчавшим, включить исключенных.

Но в понятии справедливости есть признание справедливого исключения и лишения слова. И оно подчеркивает, что мы, ученые, не только продукт и потребители знания, но и судьи. Реально наша жизнь полна суждений, оценок с мирскими последствиями в форме рекомендательных писем, рецензий, выбора книг, включаемых в список литературы по курсу для чтения и обсуждения. Каждая рецензия – суждение, влияющее – пусть незаметно, но властно – с непредсказуемыми последствиями.

Наши обязанности здесь загадочны. Возьмем простой пример морального вреда игнорирования кого-то из-за расы или гендера и спроецируем его на научные суждения. Должны ли мы прислушаться или нет? Или мы ничего не должны – наши обязанности чисто инструментальны и рыночны? Мы предлагаем миру в нашем «исследовании» нечто,

что, мы надеемся, полезно; другие сочтут его полезным или нет, хорошим или нет. И все? И мы лишь перед собой обязаны делать верные выводы о том, что читать и что нет с точки зрения нашей продуктивности? Или это слишком плохая картина наших обязанностей как ученых и исследователей? Обязаны ли мы искать истину, независимо от ее политической ценности или пользы для карьеры, даже если это ведет к твоей «отмене»? Есть ли некий научный эквивалент понятия гражданское мужество?

Суждение и производство

Очевидна напряженность между инструментальной ценностью и чем-то неуловимым, но более высоким, чем просто польза для карьеры. Неуловимое – это вариант понятия эпистемной несправедливости. Ключевую форму несправедливости оценивают неверно. Оценка – нечто особое. Обязанность судить корректно не вытекает из инструментальной ценности. Если слышать только полезное для производства текстов, упустить что-то. Что? Какие обязанности не выполнены? Если есть обязанность делать верные оценки, из чего вытекает эта обязанность, что она означает?

Часть научной подготовки инструментальна: заметная цель многих учебных программ – обучить тому, что позволит студенту написать статью в хороший журнал. Такое образование – это обучение выживанию в науке. Легко понять, что оно вытеснит бесполезное обучение. Но наша роль как судей требует большего. Наши суждения часто сравнительны: ценен ли проект, ценен ли кандидат, ценен ли его труд своей сущностью, есть ли в нем смысл, верен ли он? Для таких суждений нужны сравнения. И нужно знать что-то о том, чем сами мы не пользуемся, – соперничающие подходы, спорные мнения, чуждые нам позиции, может быть, сложившиеся в группах с иными прошлым и статусом.

Категории, о которых нам нужна информация, включают труды покойных. А чем мы обязаны мертвым? Как судьи трудов современных, или готовя программу обучения не просто производителей статей, а будущих судей, подобных нам, мы вершим эпистемное правосудие. И мы ставим вопрос: «это труд новый, он лучше, глубже»? Мы хвалим работы, критикуем их. И мертвые – часть, часть большая, совокупности сравнений. Мы обязаны с уважением их выслушать, как и людей, о которых мы судим. Но решаем, кого уважать, мы. И это создает свои дилеммы.

Мне преподавал философию ученый, доведивший до крайности одинаковый подход. Он преподавал философию социальной науки по книге Джибсона *The Logic of Social Enquiry* (1960). Много позже я жаловался ему на эту скучную книгу. Он ответил: «Я сам с трудом сдерживал себя на занятиях». Для него долг судить корректно состоял вот в чем: равноценно представить студенту каждую точку зрения, предоставив ему выбор. Но он, конечно, представлял и альтернативы выбора; это и был его акт суждения. Это лучше, чем диктаторски навязать «верное» мнение. Но еще один путь – дать в своем курсе модель верных суждений, поясняя свои мнения, признавая и разъясняя альтернативы.

Но за пределами таких простых примеров применение идеи эпистемной справедливости полно ловушек. Сама справедливость – спорный концепт, один из самых спорных нормативных концептов. Как эпистемолог, Фрикер работает с истиной и пониманием. Но истина и понимание чаще всего и оспариваются в трудах ученых. Оспариваются не только словами. Во всей научной жизни есть рычаги: не только рычаги подавления мнений, но и средства их продвижения, «несправедливые» по-разному. И это – оружие движений и за исключение, и за продвижение репутаций и мнений, отброшенных или несправедливо навязанных.

Вспомним проблему справедливости в организации научного дискурса оценок экономики Т. Вебленом: в условиях идеальной конкуренции никто не получит прибыли; то есть путь к прибыли – разрушать конкуренцию, например, картелями, нечестной рекламой и т.д. По мере возобладания этих приемов в отношениях участников рынка выигрывают не «лучшие», а лишь самые успешные в применении этих приемов. В мире «рынка идей» есть аналогия: если исключить иных, монополизировать или аккумулировать ресурсы, очернять по ненаучным основаниям, продвигать своих сторонников и т.д., можно

«выиграть» гонку за уважение и власть в науке; твоя точка зрения будет выглядеть верной потому, что она победила.

С чисто инструментальной точки зрения видимое реально. Если Бурдье, Хабермас или Дюбуа «свои», карьерист сочтет их позиции верными. И не спрашивайте, как они стали «своими». Наши суждения о ценности не только неотделимы от механизмов власти, – есть выраженная предвзятость, иллюзия, что они измеряют одно и то же – качество. Студенты – естественные жертвы этой иллюзии. Мы, учась на судей, усваиваем знаки системы престижа и ценностей других. Мы не свободные агенты, как намекает метафора рынка. Инструментальная ценность идей – путь, на котором они важны для наших карьер, – часть системы престижа, результат множества рычагов, используемых участниками для продвижения/подавления соперников. Неудивительно, что раздельные функции судей и пользователей перемешаны. Использование в нейтральном инструментальном смысле интеллектуальной ценности путают с их использованием как инструмента получения карьерных преимуществ, а эти преимущества путают с самим качеством.

Не только путают. Р. Мертон и его ученики выполнили много эмпирических исследований цитирования и заслуг, валидизируя всю эту путаницу как эмпирически истинную: показать, что качество – это свойство, близкое сконструированной валидности. А систему оценок по цитированию, под которой мы все работаем, Ориджи назвал системой добровольного эпистемного оброка [Origgi, 2015: 216–240]. Она соединила эти разные вещи, количественно определяя качество в терминах инструментальной карьерной важности. Мертон [1968] сам идентифицирует источник эпистемной несправедливости: эффект Матфея, привлечение внимания к трудам престижным. Но его метод раскрытия этих расхождений опирался на инструментальный критерий цитирования, который слеп к подлинной эпистемной справедливости.

Справедливость и эмансипация

Но при чем тут классики? Наивный ответ – они благополучатели от тех десятилетий, когда оценщики считали их достойными изучения и опоры на них. Такая эпистемная справедливость создала своих классиков, и они такой статус заслужили. Его как раз сегодня оспаривают. Новый подход, огрубляя, таков: эти классики жульнически получили свой статус, жульничая особым способом: получая выгоды от господства белых, европоцентризма, расизма и мизогинии, выступая их глашатаями. Социальная теория должна быть эмансипативной. Теории прошлого стали оковами.

Можно заметить: так интерпретировать классиков значит их так же ретроспективно инструментализировать, как критики инструментализируют свои теории, делая их средством эмансипации. Они обходятся с теориями как с оружием политики, идеологий и выражением специфической точки зрения некой «позиции», понятой как «позициональность» говорящего. Это может служить экспликации, контекстуализации таких мыслителей и тем самым их пониманию. Именно так К. Мангейм понимал термин «локация», который – по иронии судьбы – «позициональность» заменила в ходе процесса непризнаваемого концептуального захвата. Когда такие доводы используются для оценок, не просто для содействия пониманию и диалогу, на что надеялся Мангейм, такой аргумент есть переход на личности, расширенный до групп. А это путь к призывам «отменять».

В принципе можно утверждать, что нет свободных от ценности теорий, суждений, что ни одно заявление неотделимо от позиционности говорящего. Но так же верно, что такой аргумент – еще одна теория – теория, коренящаяся в самой осуждаемой и игнорируемой традиции, что есть много способов, которыми изучавшие эти проблемы уточняли, отвергали, критиковали такие аргументы. Можно, конечно, сказать, что эти разные «способы» (кроме собственных) – сами часть идеологии белых или патриархата. Но тогда и ответ будет тем же – идея позиционности сама и нелогична, и инструментальна. А это тупик.

Не надо думать, что это все на уровне аргументов, никому не важных. Заметим, что такого рода проблема не нова. Мертон [1972], жесткий критик Мангейма, очертил долгую историю того, что достоин/недостойн говорить по конкретной теме автор эссе, идущий

против течения. Мыслители прошлого, многих традиций, ставили вопрос, является ли их традиция лишь локальным феноменом, можно ли ее в некой мере встроить в нечто универсальное, вездесущ ли конфликт между локальной истиной и истиной как таковой. Такой вид мышления сейчас отодвинут в сторону. Его нельзя редуцировать до «белых» или патриархата. Его можно опорочить по Фрейду, как в кинофильме «Catch-22»: возражение против редукции само есть доказательство позиции «белых» (патриархата).

Какова ставка сегодня?

Только пещерный житель не знает о борьбе за власть по этим вопросам в университетах. Ставка – контроль рычагов академической власти. Чувство своей правоты – основа соперничества: стратегия выявления, осуждения, удаления и отвержения сторонников белых и мизогинии, как и искренняя попытка получить привилегии путем поиска источников и лиц, в прошлом несправедливо исключенных. Критическая расовая теория – крайняя форма утверждения такой доктрины – обеспечивает оправдание данной стратегии. Цель – клеймить как расистские любые стандарты, идеи, данные, ставящие в невыгодное положение расово угнетенные группы, а шире – вообще идентифицировать «справедливость» как преодоление любого нанесенного ущерба этим группам; ущерб при этом жестко определяется как любая разница в результирующей выгоде. Эта атака доходит до идей об объективности, рациональности, незаинтересованности, подаваемых в школьных учебных программах как примеры разрушающей душу «белости», преодолеваемой путем эмансипации. То, что черные, женщины придерживались иных представлений об объективности, значения не имеет: это лишь доказательство того, что их мозг заражен идеями «белых» и патриархата.

Так же работает постколониальный вариант этой линии мысли. Интеллектуальный контент его – инверсия базовой истории о «Западе и остальных», где сила Запада лишь в эксплуатации и подчинении народов, искоренении их культуры, порабощении, капиталистическом ограблении, подавлении интеллектуального сопротивления колониальному господству во имя «цивилизации» и «модернизации». Результаты колонизации глубоки и устойчивы – вплоть до «эпистемологии», означая средства достижения той степени веры, когда подорваны остатки туземных интеллектуальных ресурсов, ресурсов обеспечения интеллектуального сопротивления. Все это сочетается с критикой глобального капитализма – источника и вдохновителя процесса эксплуатации и расовых основ угнетения, мотивируемых и оплаченных капиталом.

Такие мощные политические идеи хорошо сочетаются с мыслью, что социология – дисциплина эмансипации. Сейчас это общее место, постоянная тема в Американской социологической ассоциации. Потенциал эмансипации – не только ценность, но высшая интеллектуальная ценность. С такой точки зрения все классики социологии ошибались: они белые, расисты, европейцы или американцы, поэтому по определению расисты и империалисты. Решение – зачистка поля такого наследия, замена его новым наследием цветных, женщин, жертв колониализма, угнетенных, а если их нет, предоставление слова молчащим низам, говоря вместо них то, что они бы сказали, если бы могли.

Говорить могли бы немногие мыслители эмансипации: Дюбуа, Ф. Фанон, С.Л.Р. Джеймс и, наверное, еще кое-кто. За женщин – ряд ранних феминисток, например Шарлотта Перкинс Джилман. Эти новые классики закреплены в списках изучаемой литературы. Но призыв к эпистемной свободе – не просто дело заслуживших её. Лодка невелика. Призывы к инклюзии это и требования эксклюзии. Некоторые требования превращены в форму замалчивания и эксклюзии на основе – по иронии – критериев, служивших эксклюзии: раса, гендер, политические взгляды. Это, говорят новые победители, плохо, но справедливо: эпистемная справедливость требует, чтобы заслужившие говорили и их слушали, а прежде великие – угнетатели – заняли их место.

Здесь можно завершить историю «справедливости». В прошлом были победители; их время прошло. Справедливо, чтобы новые классики заняли их место. Но это создает тяжелую ношу для понимания справедливости и мыслей о том, что справедливость, эмансипация – ясное и очевидное добро, что нам и следует признать. Логика проста:

социология не может и не должна быть свободна от ценностей. Свобода от ценностей, объективность, свободная дискуссия и все остальное – это доктрины, выражающие позицию только «белых» и во всяком случае наносящие ущерб угнетенным в мире, где все рычаги научной жизни исторически были в руках угнетателей. Ценностью можно признать лишь эмансипацию. Быть против неё – значит быть за угнетение, быть расистом и жено-ненавистником, так как угнетение – дело рук белых мужчин, даже просто в виде привилегии. Но и это еще не всё.

Рычаги и каноны

Есть одна неприятная история. С точки зрения эпистемной несправедливости история мысли – едва ли место для слабонервных. Культура отмены, и не просто в виде вызова или неприятия, всегда была с нами в какой-то форме, ответственность часто далеко не просто ограничивалась интеллектуальными заслугами. У католической церкви был *Index Librorum Prohibitorum* – длинные списки протестантских историй, которые церковь не любила и запрещала католикам читать. Спинозу предала анафеме своя еврейская община. На живой памяти интеллектуалов Восточной Европы увольнение, тюрьма и т.д. за взгляды. «Расизм» был мощным аргументом оправдания репрессий, и у него есть своя родословная. Крупный психолог А.Р. Лурия был обвинен сталинскими прислужниками в 1930-е гг. в расизме за объективное изучение рассуждений неграмотных крестьян Узбекистана и Киргизии [Homskaaya, 2001: 111–112]. Его труды замалчивали, ему пришлось уйти с работы. Обвинения Гоббса и Макиавелли стали на столетия настоящей отраслью науки – но, надо сказать, их репутации, как ни странно, не пострадали от такого «эффекта Стрейзанд». За попытками исключать и осуждать мыслителей всегда были люди с чувством правоты и институционными рычагами для его выражения.

С учетом этих рычагов и большого числа праведных людей в истории загадкой стала сама интеллектуальная жизнь. Что говорить, в большинстве стран она подавлялась. Мысли нужна свобода, нужно свободное время, а оно требует извлечения прибавочной стоимости для своей поддержки и готовности к такой поддержке. В истории немало случаев поддержки богатыми общностями интеллектуальной жизни, достаточных для производства порой великого мыслителя. Но эти случаи редки. То, что мы считаем классической мыслью, все еще вызывающей наш интерес после исчезновения этих общностей, как правило, требовало компромиссов и создания рычагов.

Университеты и школы – это скорее неоднозначные загадки. Лицей Аристотеля, академия Платона, школа Зенона продержались сотни лет перед тем, как их закрыли, но они были школой того, что делать школе: учить. Школы исламского мира цвели какое-то время, внося инновации, но традиция слияния политической власти с властью доктрин и вмешательство ортодоксов сделало их местом, малоприспособленным для интеллектуальных новаций. Все они были, так сказать, рычагами. То, что на Западе университеты продержались почти тысячу лет, – загадка. Случилось же это потому, что они восполняли нужду в обучении, а не потому, что были великим источником интеллектуальной инновации. Реально, большую часть своей истории университеты фактически подавляли интеллектуальную жизнь, как и продвигали ее. Подготовка к труду и защита ортодоксии были их традиционными целями. Лишь в ретроспективе мы их прославляем. И мы, как правило, славим идеальную модель германского университета конца XIX в. Там было место новациям и интеллектуальному соперничеству. Желание конкурировать с такими университетами трансформировало жизнь университетов в англосфере, во Франции, в других странах. Но старые императивы проповедей ортодоксии не исчезли – как и средства ее насаждения.

Социология началась вне университетов. Они ее не приветствовали – особенно Оксфорд и Кембридж. Наверное, это парадоксальный случай, когда социология стала университетской дисциплиной благодаря требованиям признать ее. Требования шли от людей, заинтересованных в социальной реформе. Другой пример. Сет Лоу – реформатор, мэр Бруклина, богач – «подкупил» Колумбийский университет, чтобы социологию впустили в него, пожертвовав свою библиотеку. Много лет социология выживала, готовя

благотворительных (социальных) работников. Ч. Эльвуд, один из первых в чикагской социологии получивший кафедру по этой дисциплине, обнаружил, что вторая половина его рабочего времени уходит на работу не только по руководству Обществом благотворительных организаций, но и на зарабатывание там своей зарплаты. Его следующая должность оплачивалась, но работа была той же и частично была результатом многих лет агитации одной леди из фракции социальных реформ штата, ее тюремным комиссаром. Даже в Германии первая кафедра социологии досталась врачу, социальному реформатору. Так социология вползала в университет, и в основном через двери профессионализации и политики. Исходной профессией в англосфере было просвещенное социальное администрирование политики реформ, прогрессизма, фабианства и их многих местных вариаций. Сам диапазон этих течений удивляет, как и использование ими публичных ресурсов, – что видно сразу же в таких книгах, как *Encyclopedia of Social Reform* Блисса [1897], подробно перечисляющая библиографические источники каждого течения. Можно уверенно сказать, что академическая социология родилась в компромиссе. И хотя условия компромисса и его игроки со временем менялись, факт компромисса не менялся.

Проблема «классиков» и канонов началась с этого компромисса. Школьная социология не напоминала «социологию», развивавшуюся вне науки, сфокусированной на Конте во франкофонном мире, в среде приверженцев религии человечества и Спенсера в других странах. Она породила живую международную дискуссию о совместимости дарвинизма и социализма под влиянием людей типа Р. Вормса и Л. Гумпловича. Интеллектуальный компонент широкого движения за реформы был исключительно важен профессорам: они хотели быть учеными, совмещающими свои исследования с практикой преподавания. Им нужно было стать таковыми, чтобы попасть на поле науки. Но то, что возникло из этого как научная социология, было странным гибридом. Вовсе не таким, каким его мыслили реформаторы, продвигавшие социологию.

Чтобы преподавать, профессорам было нужно содержание преподавания; ранние социологи его нашли в огромной литературе вне науки, или на полях повседневной жизни. Таким было начало формирования «канона». Процесс был запутанным, варьировал от страны к стране, от кафедры к кафедре. То, что включал Колумбийский университет, часто исключали в Чикаго, и наоборот. Был некий корпус людей вне этого корабля: Симона Паттена знали все американские первопроходцы, но равного статуса у него не было. Дюркгеймианцы очень жестко обходились с бывшими друзьями, связанными с Р. Вормсом, выступали против его Международного института социологии. Социология становилась частью национальных систем, складывались национальные социологии. Социологи, становясь учеными, уходили от публичных дискуссий – но не полностью.

Вопреки такому крайне пестрому процессу канонизации, или, может быть, из-за него, социология межвоенного времени все еще была очень открытой, занимаясь больше своей инклюзивностью, чем дискуссиями о демаркациях, определяя свой предмет. В контекстах «теории» она всемерно стремилась показать, что социальная мысль была везде, коренясь в повседневном социальном опыте людей. Трехтомный труд Барнса и Беккера *Social Thought from Lore to Science* (1938) утверждал, что социальная мысль часто бывала имплицитной, содержалась в пословицах и мемах. Сотни страниц отводились древним истокам социального мышления Китая, Индии и Ближнего Востока. Такими же были другие тексты того времени, – например, книга Богардуса *The Development of Social Thought* ([1940], [1960]), начинающаяся главами о Японии и Китае. Прежний взгляд на теорию и ее канон был, таким образом, очень объемным: целью – частично – было показать, что люди всегда думали об обществе, и то, что они думали, все еще интересно и ценно. Было и эхо таких взглядов в 1950-е – книга Шамблисса *Social Thought: From Hammurabi to Comte* [1954]. Но в США и по своим причинам в Европе двери перед социологией стали закрываться.

«Наши» классики

«Классики» социологии, как мы сегодня считаем, – Вебер, Дюркгейм, Маркс и, наверное, Зиммель, среди других сами стали классиками в результате некой реканонизации под

влиянием иного набора воображаемых императивов в начале послевоенного периода. Это была крайне избирательная реканонизация. Она отражала новые императивы, отвечавшие идее поведенческой науки и подготовки людей для социальных исследований, а не для изобретения новых теорий. Избирательна она также по содержанию: в ходу оказались цитаты, но не всё совокупное наследие мыслителя именно как мыслителя. Так, например, Мертон обучал поколения студентов Колумбийского университета на кратких выдержках, буквально вырванных из текстов. Его идея заключалась в пользе классиков как источников проверяемых гипотез. Изучить мыслителя целиком, в контексте – это забыли. Как и мыслителей Барнса и Беккера, один из которых подвергся уничтожающей критике Мертоном [1941], попутно хвалившим «дедуктивную» теорию Парсонса и позже цитировавшим Уайтхеда: науку, колеблющуюся забыть своих основателей ([1957] 1968: 38), можно забыть. Он не цитировал свой приговор – вся история философии состоит из примечаний к Платону.

Был в середине этой перемены интересный разрыв между тем, что писалось для публики, и для людей, обучаемых производству социологии: *History of Social Philosophy* Эльвуда [1938], аналогичная *History of Political Theory* Себайна [1937] и *Истории философии* Тилли и Вудса ([1914] 1957). Обе работы – научный стандарт межвоенных лет, а в отношении Себайна и 1960-х годов. *History of Social Philosophy* Эльвуда была названа лучшей в своем жанре и переиздавалась минимум восемь раз. В ней обсуждался Маркс – негативно, но широко, как теоретик одного фактора. Завершалась книга Уордом и Самнером, интервенционистской и антиинтервенционистской альтернативами социальной теории, что отражало и альтернативы политики 1930-х гг. Напротив, парсоновская *Структура социального действия* [1937] первые десять лет жизни боролась за выживание. Эльвуда, Барнса и Беккера удалили при ре-канонизации, как и большинство мыслителей, обсуждавшихся ими, да и большую часть занимавших их проблем.

Памятником процессу переучреждения канона стал двухтомник *Theories of Society*. В нем много Вебера, Дюркгейма и Фрейда, составлен он из коротких выдержек из крупных работ [Parsons et al., 1961]; продуманный подзаголовок – «Основания современной социологической теории». Маркса почти нет. Как и большинства тех примерно тридцати крупных фигур, включенных Барнсом в 1948 г. в его *An Introduction to the History of Sociology*. Нет большинства американских социологов, кратко сказано о Кули и Миде. Большинство французских и немецких авторов, включенных в книгу Барнса, также нет.

Эпический акт удаления продолжился, устраняя стиль историзации, практиковавшийся авторами, которые уважали цели описываемых ими ученых, чувствовали историческую ситуацию, критиковали ограниченности. Это позволяло ценить ученого и понять реакцию на него тех, кто шел за ним. Взамен студентам и всей социологии как предмету науки был представлен небольшой набор мыслителей, скроенный так, чтобы соответствовать модели социологии как (прежде всего) статистической науки среднего уровня с обязательной арочной концептуальной схемой. Того требовала новая идентичность поведенческой науки. И она перекроила канон, его классиков и объект изучения в терминах списка канонических фигур, того, что у них важно, и того, что считать социологией.

Ибн Халдуна часто изображают образцом эксклюзии европоцентризма. Барнс и Беккер [1938] его подробно обсуждали – не раз, а дважды; его самого [р. 266–279, 706–709] и при изложении его понимания крупным немецким интерпретатором – Гумпловичем [Barnes, Becker, 1938: 267, 267n23, n24]. Парсонс, сторонник концепции интеграции, его игнорировал; Мертон, страстный сторонник удаления имен, действует точно так же в своей «Социальной теории и социальной структуре». Он не попал в *Theories of Society* [Parsons et al., 1961]. Попавшие в нее классики тоже переоценены. Более того, переоценка стала нормой. Яркий пример – «*Max Weber: An Intellectual Portrait*» Бендикса [1960], превратившего Вебера в невинную фигуру, опустив его ключевые методологические труды и политические работы. Бендикс работал за сценой эффективно, так, чтобы обсуждение этих вопросов в Германии не просочилось в социологию США.

Когда последствия войны пошли на убыль и в Европе ожила социология, новый список частично был подтвержден: Р. Кёниг и Р. Арон стремились к единству европейской социологии, Вебер и Дюркгейм обеспечивали мост между Францией и Германией. Оба вынужденно реагировали на марксизм, крупный реальный и политический факт, вызов времени. К 1960-м гг. перечень остановился на Марксе, Дюркгейме и Вебере. В этом была своя логика: они позволяли осуществить редукцию: к материальному, коллективному, к пониманию индивида и понимающего агента. Иногда добавляли символизм, открывая путь Дж.Г. Миду, как поступил Хабермас. Классики стали классиками.

Власть, публичная сфера и экспертиза

Социальная теория остановилась где-то между «публичным» неакадемическим дискурсом и чистой наукой. Парсонса и Мертона публика не покупала; студентам покупать приходилось. Рычаги проверки и профессиональной подготовки сделали их знаменитыми в своем поле. Но публичная дискуссия продолжилась. В 1960-е гг. в США Э. Фромма продавали в любом хорошем книжном магазине, как Ч.Р. Миллса и «Черную буржуазию» Фрезера [1957] – в дешевом бумажном переплете. Э. Беккер получил Пулицеровскую премию, его книги тоже были доступны в дешевых форматах, пусть в 500 страниц – включая книгу с высокой оценкой «утраченной науки о человеке» Л. Уорда, которого полностью удалил новый канон [Becker, 1971]. Можно было встретить рецензию на Леви-Стросса в обычной американской газете, как и я открыл его в свои 13 лет. Трудно использовать рычаги власти, чтобы убрать книгу с полок книжных магазинов. Звезды науки того времени не выносили Миллса. Но было продано более ста тысяч экземпляров одной из его книг. Безразличные к Фромму и Фрезеру, они делали вид, что Беккера не существует, но не заставили публику, студентов не читать их труды. Рост университетов и их влияние на интеллектуальную жизнь, – покупка и в итоге смерть журнала «The Partisan Review», например, – также в итоге умертвили неакадемическую часть социальной теории, или сдвинули ее на периферию поля. Игра изменилась.

Новой игрой была власть в науке с целью получения кусочка власти. В США «Изучение черных» и «Женские исследования» прошли путь от публичных дискуссий до оплота науки, сделав то, что делали ранние социологи: создавая канон из существующей литературы и кого-то выбрасывая за борт. Фрезер – резкий критик и правдолюб – изучающим черных не подошел, как и вездливый Ч. Джонсон. Упрочилась мысль, что дело черного ученого – говорить за свой народ и резко отвечать на любую его критику. В женских исследованиях забыты многие важные женщины в пользу вновь тиражируемых богинь, история движения была переделана под новые требования. В ходе этого процесса в обеих областях появились новые классики. Избирательно реабилитированы ранее игнорировавшиеся труды Дюбуа. Роберта Парка «удалили». Рождаются новые классики, рождаются в сфере научной власти.

Публичная сфера свободна для всех – но не совсем свободна. Положение разное в разных странах: во Франции публичное признание важнее профессионального; были бы средства его получить, хотя и с большими препятствиями и при верной политической линии. В США эти две сферы разделены; чуть менее жестко в Англии. Журналу The Partisan Review была нужна поддержка богатых, как и большинству рупоров «публичной» социальной теории. «Encounter» получал деньги ЦРУ, как и немецкий «Der Monat». Издатели шли за бестселлерами – включая Дюбуа в межвоенные годы и в 1960-е – Миллса, Фромма; кратко, но ярко промелькнувших Э. Беккера и Маркузе. Но удаляли других, особенно когда пыл 1960-х остыл.

Университеты – более надежные рынки, особенно когда закупка книг библиотеками субсидирует книгопродажу. Но они действуют в рамках своих форм социального контроля. Сфера науки – это власть и подчинение. Для карьеры нужно пройти экзамены, выучить, что тебе скажут, следовать диктату тех, у кого власть, подчиняться предпочтениям редакторов журналов, рецензентов, научного рынка, распределяющего «хорошие места», где есть время писать, не торча беспрерывно в аудитории, и т.д. Переход из

публичного рынка в научный – обмен одной формы власти на другую – совсем не уход в Башню из слоновой кости. Можно сказать, рассеивание власти в каждой из этих систем обнуляет эффект угнетения. Они похожи на рынок, где всегда есть, куда уйти. Но это опровергают реалии иерархий научной жизни, доносящиеся звуки неравной борьбы.

Иерархии и культы

Есть много эпистемной несправедливости – кратко- и долгосрочной, влияющей на репутации и оценки. Снобизм переплетен с жизнью науки и с оценками друг друга. То, что эти связи превращены в маленькие клубы, неудивительно <...>. Как и факт, что аутсайдеров в них не пускают: инструментально рационально следовать лидерам при определении, что важно и что ценно. Идти иным путем, значит дуть против ветра и исключать себя из претендентов на призы.

Иерархия – факт, с которым сталкивается всякий ученый. Независимо от свободы мыслить и действовать, некоторые темы, мнения и труды ценности не имеют и существуют лишь для укрепления иерархической власти. С этим нужно считаться из-за позиций людей, власть производящих. Многое из этого связано с тем, что Шилз (1975) описал как центр и периферию. Как бы мы ни хотели игнорировать влияние институтов и интеллектуальных течений центра, мы и то, что мы говорим, определяются слушателями в терминах отношения к центру. Не было бы призывов пересмотреть каноны, если бы это было не так: требование допуска в канон – акт глубокого уважения идей центра и того, что быть на периферии плохо, унижительно: тебя не слышат и не понимают, ты даже не можешь высказаться. Возможности писать и публиковаться привязаны к иерархии, а различия между верхушкой и серединой, не говоря о дне, научной жизни, поразительны. И не стоит удивляться, что борьба за вершину, центр – главная тема требований быть услышанными. Можно, конечно, отстраниться от этой борьбы и игнорировать «сообщество профессионалов». Но когда нет иного публичного места, это означает самоэксклюзию и профессиональную смерть.

Конечно, и другие мощные силы формируют жизнь науки. Общей чертой является создание культов. Мы существа социальные – из окружающего нас мира мы слышим намеки на то, что следует воспринимать серьезно, и многое другое. Наши рецензенты поощряют вхождение в одну группу и поощряют эксклюзию других, а также дают нам письменный и неписанный интеллектуальный контент, ориентирующий нас. Когда такие культы совпадают с внешними политическими предпочтениями, профессиональными влияниями, контролем над публикациями, снобизмом, делением на центр и периферию, с тонкими нюансами членства в клубах – ходить в нужную школу, что подметил Хаак, или как С. Тулмин говорил мне по поводу оксфордской философии – с правильным акцентом, культы преуспевают десятилетия. Когда их сознательно направляют стратеги науки – вспомним тщательную презентацию Парсонсом выпускников Гарварда как своих последователей, или неимоверное число рекомендательных писем Мертона, – такие действия трудно остановить.

Трудно было остановить и общности-клубы Парсонса и Мертона какое-то время, но они не пережили своих создателей. Эти мощные фигуры американской социологии 1970-х гг. сошли со сцены. На последнем издыхании был выпущен спонсируемый Американской социологической ассоциацией том «*Approaches to the Study of Social Structure*» [Blau, 1975], фактически посвященный Мертону. Все его авторы занимали ведущие позиции в иерархии университетов США, имея доступ к их богатствам. Парсонс и Мертон создали мощные системы самовоспроизводства научных кадров, расставили своих учеников на лучшие посты. Все это прекратилось. Второе поколение не произвело ученых-теоретиков, не смогло найти способных к теории людей. Они старались, чтобы их не заменили бунтари 1968 г. И это удалось, кроме случая со сторонником бунтарей Дж. Александером. Это в основном результат снобизма: быть теоретиком – не из нашей касты. Центра уже не было – или, скорее, социальная теория потеряла прежний центр, на первый план вышли Париж, особенно Франкфуртская школа, а также Луман в Билефельде.

Общности важны для производства крупных интеллектуалов. Но тут есть и иная сторона: тенденция к некоему культу, групповое мышление и использование рычагов научной власти для производства конформизма – все ограничивает творчество. И что важнее, утрачивается сила суждения. Примкнуть к культу – значит принять его стандарты ценностей как свои. В структурной системе нынешнего мира науки такой вид приверженности инструментален. Он совпадает с системой журналов и всего института рецензирования и экспертизы: всегда можно надеяться на рецензентов и экспертов единомышленников. И неудивительно, что кластеры такого рода вновь и вновь возникают в науке, в социальной теории. Франкфуртская школа с ее независимым финансированием имела силы поддержать такой кластер. Французский Национальный центр научных исследований создан с той же целью. В США созданные для поддержки элит схемы делают то же самое. С учетом компромиссной природы социологической науки не удивляет, что культы, связанные с политикой или «политическими» программами, особо успешны. Но они враждебны как раз развитию силы суждения, в отличие от способности распознавать членов «своих» групп.

Классики – источник сопротивления

Классики, понятые широко как мыслители прошлого, в их нефильТРованной, не корректированной, не урезанной форме, включая не только Дюркгейма, Вебера и Маркса, но и сторонников того, что Э. Беккер назвал «потерянной наукой о человеке», а также часть науки о социальной жизни, которую пытались уловить (и в большей части уловили) Барнс и Беккер, – вот наш ресурс, позволяющий сопротивляться «отмене», культам, снобизму и другим патологиям научной власти. Так их и использовал Беккер в *«Structure of Evil»* [1968], реагируя на возобладавшие в науке того времени силы. И хотя для него этот труд был средством заработка, он стал тем же, чем он стал для меня – студента. Мы все можем следовать его примеру использования классиков как модели. Отмена – род смерти; но это и признание значения того, что отменяющий вынужден признать отменяемого. И этого признания достаточно, чтобы позволить нам использовать нормальные инструменты науки, несмотря на обесценивание, возвратить их из состояния смерти, бросая сегодня вызов ортодоксии.

Классики – это как призрак минувшего Рождества, напоминание нам о том, что «преуспевшие» центральные позиции академической власти не увидели, упустили, спрятали, затемнили. Они напоминают нам и о провалившихся в прошлом обещаниях интеллектуальной и политической эмансипации. Они позволяют нам сказать, что их предложения не единственные. И не самые убедительные. Они заставляют нас смотреть за пределы сегодняшних реальностей академической власти. Нынешний конвенциональный список «классиков» – продукт конкретной истории. И не окончательный: их соперники, предшественники и мыслители разных видов также могут послужить как классики.

Знаменитая фраза Парсонса [1937] из К. Бринтона «Кто сейчас читает Спенсера?» в самом начале *«Структуры социального действия»* (с. 3) имеет иной смысл сегодня. Это ошибка в оценке. Парсонс оседлал фрейдизм, сегодня непопулярный, построил свой труд по модели потоков и трансформаций ресурсов в социальных системах. Напротив, сегодня Спенсер – герой когнитивной науки: его критика компьютера как модели мозга сейчас выглядит пророческой и релевантной для социальной теории. Он эксплицитно заявил об ограничениях аналогии организмов и общества. Эволюционная психология вернулась. «Стандартная социальная модель науки», продвигавшаяся бихевиоризмом, под угрозой. Сегодня игнорировать эти вызовы – значит создавать себе интеллектуальное гетто. Но и просто забраться на новейший рекламный поезд – акт *само-геттоизации*. Классики в широком смысле, в неурезанной и нецензурируемой формах, позволяют нам избежать таких гетто. Они – источник ресурсов суждения – альтернативные стандарты и иные вопросы. А эти ресурсы всегда доступны тем, кто их ищет.

Инструментализация науки по политическим причинам или просто для использования идей в производстве новых исследований – сама по себе более важная проблема. Овладение теорией и применение ее – навык. Но это не навык, требующий справедливой

оценки или облегчающий её и открытое обсуждение суждений¹. Держаться одной идеи, не понимая альтернатив и вынося суждения без их учета, – это утрата силы ученого судить, тем самым становясь менее чем настоящим ученым. Важную роль суждений недооценивают. Одна хорошая оценка или критика плохой идеи могут предотвратить сотню их применений. Но отменить альтернативы до их тщательной оценки или по причинам личным – значит отменить саму науку. Научная жизнь отличается даваемыми ею рычагами: рычаги сопротивления, но и подавления. Снобизм – профессиональный риск. Суждения – главная форма действий ученых: рецензии, оценки и проверка, написание и чтение отзывов, оценка заявок на гранты, их написание с оценкой в уме, предоставление возможностей или отказ в них, заслушивание или нет, составление списков для чтения, отмена или нет. Это достаточные возможности для эпистемной несправедливости – и для создания научных гетто, глупостей и замещения открытых, серьезных информированных суждений криками толпы, сектанством, приверженностями, снобизмом.

Классиков как участников среди нас нет. Но они образцы – порой негативные – и стандарт, позволяющий нам, если мы им это позволяем, расширить наши способности судить. И хотя их можно отменить, их нельзя устранить. Мы обязаны мертвым нашим самым лучшим суждением, зная, что оно спорно и неустойчиво, подвержено влияниям нашего интеллектуального окружения. Только так мы можем добиться улучшения наших суждений. Надо принять требование Мертона забыть основателей, поставить его на голову: лишь не забыв основателей, мы можем противиться эрозии нашей способности судить. Нам нужно не «оправдывать классиков» во имя политической инструментализации прошлого – отбирая лиц, прогрессивных в сегодняшнем смысле. Делать так – значит капитулировать в игре политического инструментализма сегодня. Напротив, мы можем оправдать их как средство повышения нашей способности справедливо судить, что является сутью, основой этой способности.

Новая культура отмены и выдвижения «новых» классиков использует ставшие доступными рычаги. Порой это выражает справедливость: рычаги – единственный способ вернуть нам заслужившего это мыслителя. Причина отмены возникает, прежде всего, потому, что академической властью пользуются, когда не работает убеждение. Процесс отмены и возвращения в одном смысле нормален: это нормальная патология академической жизни. Но отменять во имя одной верной теории, теории угнетения и сопровождающих ее ценностей, значит забывать об ответственности подвергать теорию суждению, получать знание, позволяющее нам быть справедливыми и защищать суждения людей. Классики в широком смысле такое знание дают. У них есть свои пределы. Но они уж точно не говорят одно и то же.

Малая доля истины в понятии позиционности, идея, что всякий вид мышления управляется отношением к власти, такова: мы все когнитивно ограничены, и то, что мы знаем, зависит от того, что нам довелось изучить, от способности понять, что пережитое нами и ограничено, и управляемо, но не полностью лежит вне нашего контроля. И это верно для ушедших – они тоже были подвержены ограничениям времени, пространства, культуры, способностей, которые мы критически оцениваем. Можно, подобно продюсеру, принять свои ограничения и свой личный взгляд, сосредоточившись на том, что в этих рамках раскрывается: какой ты специалист. Но для судьи это лишь увеличивает возможность ошибки, односторонности суждения. Прочтение без учета границ позициональности – путь к преодолению этих ограничений, некий суррогат диалога. А мертвые – огромный

¹ Коллинз [2004] предложил различать дополняющую и интеракционную экспертизу – как иную точку зрения: дополняющая экспертиза, способность написать статью, является базовой, а интеракционная экспертиза, способность понимать ее и ее комментировать, подразумевает, что лицо, обладающее дополняющей экспертизой, имеет способности интеракционного эксперта и не только. Сильвертсен [Sivertsen, 2019] недавно показал, что когнитивная наука позволяет думать, что способность судить и способности, характерные для специалиста, не только различаются, но конфликтуют. Дж. Брайантом Кананом в трудах о науке отмечена тенденция ученых влюбляться в свои идеи.

депозитарий потенциальных партнеров по диалогу, чей набор суждений – вызов суждениям нашим.

Как для судей, признание нами реальности когнитивных ограничений жизненно важно. Мы – компромисс и часть системы компромиссов: академическая наука управляется компромиссами университета и самой дисциплины, а также коррумпированного рынка научных идей. Мы далее – компромисс личных биографических ограничений и рычагов, прилагаемых к нам. Но и наша рука тоже лежит на рычагах – мы рецензенты, эксперты, редакторы, потребители. Скромность нужна. Мы не можем судить подобно богам, или беспристрастным наблюдателям. Но мы должны понимать, что замещаем их. Наш долг мертвым: признать их и признать суждения, когда-то сделанные в их адрес; пусть они фигурируют в наших суждениях. И, как у судей, это наш долг нам самим.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES]

- Barnes H.E. (ed.) (1948) *An Introduction to the History of Sociology*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
- Barnes H.E., Becker H. (1938) *Social Thought from Lore to Science*. New York, NY: Heath & Company.
- Becker E. (1968) *The Structure of Evil*. New York, NY: Free Press.
- Becker E. (1971) *The Lost Science of Man*. New York, NY: George Braziller.
- Bendix R. (1960) *Max Weber: An Intellectual Portrait*. Garden City, NY: Doubleday.
- Blau P.M. (ed.) (1975) *Approaches to the Study of Social Structure*. New York, NY: Free Press.
- Bliss W.D.P. (ed.) (1897) *The Encyclopedia of Social Reform*. New York, NY: Funk & Wagnalls Co. URL: <https://archive.org/details/encyclopediaofsoc00blisrich> (accessed 05.01.2021).
- Bogardus E.S. ([1940] 1960) *The Development of Social Thought*. New York, NY: David McKay & Company.
- Chambliss R. (1954) *Social Thought: From Hammurabi to Comte*. New York, NY: The Dryden Press.
- Collins H. (2004) Interactional expertise as a third kind of knowledge. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*. No. 3: 125–143.
- Ellwood C. (1938) *A History of Social Philosophy*. New York, NY: Prentice-Hall, Inc.
- Frazier E.F. (1957) *Black Bourgeoisie*. New York, NY: Free Press.
- Fricke M. (2007) *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford: Oxford University Press.
- Gibson Q. (1960) *The Logic of Social Enquiry*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Haack S. (2020) *Not one of the boys: Memoir of an academic misfit*. *Cosmos + Taxis* 86: 92–106.
- Homskaya E. (2001) *Alexander Romanovich Luria: A Scientific Biography*. New York, NY: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Merton R. ([1957] 1968) *Social Theory and Social Structure*. New York, NY: The Free Press, pp. 1–38.
- Merton R. (1941) Review of Contemporary Social Theory by Harry Elmer Barnes, Howard Becker, and Frances Bennett Becker. *American Sociological Review*. No. 6(2): 282–286.
- Merton R. (1968) The Matthew effect in science: The reward and communication systems of science are considered. *Science*. No. 159 (3810): 56–63.
- Merton R. (1972) Insiders and outsiders: A chapter in the sociology of knowledge. *American Journal of Sociology*. No. 77(July): 9–47.
- Mills C.W. (ed.) (1960) *Images of Man: The Classical Tradition in Sociological Thinking*. New York, NY: George Braziller.
- Morris A. (2015) *The Scholar Denied: W. E.B. Du Bois and the Birth of Modern Sociology*. Oakland, CA: University of California Press.
- Origi G. (2015) *Reputation: What It is and Why It Matters* (trans. Holmes S and Arikha N). Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Orwell G. (1949) *Nineteen Eighty-Four: A Novel*. London: Secker & Warburg.
- Parsons T. (1937) *Structure of Social Action*. New York, NY: McGraw Hill.
- Parsons T., Shils E., Naegle K.D. et al. (eds) (1961) *Theories of Society: Foundations of Modern Sociological Theory*. New York, NY: The Free Press of Glencoe, Inc.
- Sabine G.H. (1937) *A History of Political Theory*. New York, NY: Henry Holt and Company.
- Shils E. (1975) *Center and Periphery: Essays in Macrosociology*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
- Sivertsen S.S. (2019) On the practical impossibility of being both well-informed and impartial. *Erasmus. Journal for Philosophy and Economics*. No. 12(1): 52–72.
- Thilly F., Wood L. ([1914] 1957) *A History of Philosophy*, 3rd edn. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston.

Перевод с англ. Н.В. ПОМАНОВСКОГО

РОМАНОВСКИЙ Николай Валентинович – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН; профессор Российского государственного гуманитарного университета, Москва, Россия (socis@isras.ru).

EPISTEMIC JUSTICE FOR THE DEAD

TURNER S.

University of South Florida, USA

TURNER Stephen, Distinguished University Professor, Department of Philosophy, University of South Florida, USA (turner@usf.edu).

Abstract. The classics of social theory have a peculiar status: our current list is the product of past academic strategizing, and the list of favored classics has changed. Currently there is a process of replacing them with older writers who better fit current concerns, and to cancel those who hold the wrong views, or are of the oppressor class, in order to provide epistemic justice for those who don't deserve their status and uplift those who were wrongly neglected. From an instrumental, careerist point of view, adapting to these changes makes sense. From the point of view of judgement, which differs from the capacity to produce, it does not. Exclusions narrow our range of reference and our capacity to assess in the present. We owe ourselves, and them, not only temporary, fashion driven justice but a larger capacity of judgement detached from the instrumentalization of scholarship.

Keywords: cancellation culture, systemic justice, Merton, public sociology, classics of sociology.

Transl. by N.V. ROMANOVSKY

Nikolay V. ROMANOVSKY, Dr. Sci. (Hist.), Prof., Chief Researcher of the Institute of Sociology of FCTAS RAS, Prof. of Russian State University for Humanities, Moscow, Russia (socis@isras.ru).
